

Пожухлая листва, не сваленная в столь любимые детьми кучи, самовольно вихрилась у корней деревьев, ползала гигантским пауком по желтеющей траве, и через приоткрытое окно, впускающее тонкие струи прохладного ветерка, доносились шелест и шорох. Совсем близко, над головой, над крышей угрюмо-серой коробки, никак не вписывавшейся в пёстрое и яркое черноморское побережье, словно не знающее ни осени, ни зимы, ни слякоти между ними, грохочуще кричали чайки, но их отчаянные вопли не шли ни в какое сравнение с тем, как гулко давит на барабанные перепонки работающая без прорыва и отдыха арта. Холодно, холодно, холодно — зуб на зуб не попадает, как любят описывать; и трясутся мышцы так, что становится уже больно, и слезятся глаза: их никак не прикроешь; а арта всё ухаёт и ухаёт, как бешеная сова, чей клюв превратился в концертный микрофон с усилителями, выплёвывая из себя один снаряд за другим; это длится не дольше минуты, максимум двух, а после — снова жарко, и вздымленная земля, перемолотая в песок, горячая от попаданий, изрезанная, раззявившая чёрные пасти, сминается колёсами; и травы нет не потому, что осень, и вокруг — не скелеты, а изломано-перемолотые кости деревьев — такую труху даже в колбасу не добавляют. А зори здесь тихие, но не настолько, чтобы все звуки в больнице затихли — шаги, стоны, шелест, скрип; и запахи плоти, и гнили, и опалённого мяса, и спирта, и химозных лекарств, и гноем, жёлто выливающимся из мокрых ран, навязчиво ползают по коридорам, разносимые врачами, тусклыми и уставшими; и засыпаешь, только когда начинает светать. Вроде как утомлённый безмерно, лежишь

на узкой койке, на какой не повернёшься толком, но никак не можешь заснуть — хоть овец считай, как в далёком детстве, пусть тебе всего двадцать три. Словно решил поплавать, но ты не погружаешься в воду, а распластываешься над ней, затихаешь, едва дыша, и позволяешь воде обволакивать твоё тело; но сон не приходит — дремота является лишь тогда, когда чёрный цвет, застилающий небеса, становится синим, плавно перетекающим в голубой.

Он проснулся уже после восьми, чуть-чуть не пропустив завтрак и чуть-чуть не получив ласкового пинка от санитарки, и комната, залитая светом, показалась больше обыкновенного; и шум волн доносился громче, чем тревожной ночью, а чайки так и кричали над головой и над крышей серой бетонной коробки, так и не вписавшейся в пёстрое и яркое черноморское побережье.

— Ну и даёшь ты, — доносится с соседней койки, — столько спать.

Пахнет хлоркой: только помыли полы; и больше ничем — только из-за тонко приоткрытого окна, шелестя, цветы разносили последние запахи, прежде чем рассыпаться хрупкими лепестками. Обрывок разговора, едва начатого, повисает в воздухе; он не переводит на соседа взгляда: нет сил двигать глазами, наверняка изрезанными кровавой сеткой сосудов; глаза мучительно болят, но если зажмуриться, то становится только хуже: каждый раз, когда вокруг смыкается тьма, страшно. Тьма всегда разорвётся снарядом, всегда отзовется товарищем, ещё живым, ещё дышащим, но его не вынести, и приходится оставлять за спиной, надеясь, что не попадёт в их плен ещё живым, и выползая из грязи в грязь, а позади — догорают БТРы. Затянутое сизым прогорклым дымом небо небо, слезящиеся глаза, копоть, оседающая на лёгких; времена, когда пехота шла на пехоту, прошли, но стоит случиться прилёту по вам или совсем рядом — и война дышит в лицо, как в минувшие века.

Дождь, на миг показалось ему, но то были брызги прибоя.

Море выдыхает холодно, в такт сильному ветру; воды его густеют, как будто готовясь замёрзнуть, но он знает, что Чёрное не скрывается подо льдом никогда. Волны плещут и плещут, вгрызаясь в гальку, мысы и резные камни, покрытые водорослями; и хочется войти в воду, и знаешь ведь, что холодно —

снова будут стучать зубы, снова сведёт болезной судорогой мышцы, снова потечёт и из глаз, и из носа, да и врачи не разрешают переохлаждаться, не разрешают плавать — только ходить, насколько возможно, и дышать морским воздухом. Под камнем снуют щитоноски. Ветер доносит отзвуки голосов: он поворачивает голову, всматривается в серое небо, а там, на каменном обрыве, плавно переходящем пологим спуском в галечный пляж, стоят двое; и снизу кажутся игрушечно маленькими, неестественно-ненастоящими. «Если спрыгнуть оттуда, то переломаешь все кости и погибнешь, пусть и не сразу», — отчего-то думается ему, и приходится настойчиво выбрасывать эту мысль из головы, подменяя то волнами, то ветром, то навязчивыми щитоносками, то крошечными рыбками; на тело навалилась вялость, как перед повышением температуры вечером того же дня. Смерть вновь сбросила маску недостижимости. Он так и сидит в глухом одиночестве, не в силах подняться, а та пара уходит; и он сам вдруг срывается, насколько возможно, с места, опираясь на костыли, хромает обратно, продрогший до боли. В больнице ничего не меняется: всё та же серая коробка; и если подойти ближе, то видно, что фасад местами треснул, но это ничего, не ощерился беззубо обломками бетона и осколками арматуры — и хорошо, и стоит.

В палате всё так же тихо и дремотно, но одна койка оказывается внезапно занята.

Скрипит матрас. Новенький смотрит на него, вошедшего и замершего в дверях. У него тоже нет ноги, только левой, а не правой.

— Смотри, — говорит он хрипло-смешливо, — из нас двоих можно собрать одного бойца.

Он не смеётся: почему-то не получается, почему-то лёгкие сжимает, и всё, что у него получается, так это с трудом улыбнуться. Лицо наверняка его похоже на мучительную гримасу, но новенького это не смущает; и не смущает то, что разговор приходится вести самому.

— Тебя как звать?

Хочется ответить позывным, но ведь это — не окоп.

— Алексей.

— Семён.

Про службу и про ранение Семён не спрашивает; кажется, что это всё осталось далеко позади, как обугленные скелеты

хамви и пикапов, как уханье арты и стремительная смена позиций, как пропитанные кровью бинты. Как вовсе нечто может быть столь важным и ужасным одновременно? Почему важное облеплено грязью и облито ледяным дождём, никак не смывающим ни копоть, ни кровь, а только вбивающем их глубже в одежду и в кожу? Почему нужна смелость, чтобы любить и говорить о любви, и не нужно ничего, чтобы ненавидеть и говорить о ненависти? Священник, который цитирует Ницше и проповедует паломничество к святым гробам Бучи и Мариуполя; Харьков, который бомбят, а там асфальт кладут: чей-то бизнес идёт в гору; четвёртый рейх, который за мир во всём мире, кроме, конечно, ЛНДР; модный киевский психолог, который рассуждает об отсутствии культуры у врага и говорит лишь об алкоголизме как основе всех основ; ракеты, которые сами падают на территорию соседа, так и ждавшего, когда прольётся хоть какая-нибудь кровь; газеты, которые снова, как в сороковые, пишут о провалах врага, в то время как танки неумолимо идут на Берлин и падает блокада петровской столицы. Помнится, когда-то весьма престижную среди молодых российских авторов литературную премию взяла девочка, наваявшая стишата под заглавием «В стране победившего сюрреализма»; он помнил это потому, что тогдашняя его девушка весьма плевалась ядом в сторону не только и не столько стишат, сколько в премию, в организаторов, в современную российскую литературу, захваченную врагами и недругами — именно так она и говорила, да; а потом сама уехала, как Прилепин, в Донбасс, медик по ВУС, и не вернулась: прилёт, били прямо по больнице в тылу. Может, страна победившего сюрреализма — всё-таки не та, о которой стишата с маленькой буквы кропают? Мысли самовольно появляются в голове, в мозге, похожем больше на химический полигон, нежели на тончайший биологический шедевр, или верх искусства творца, или безукоризненную биомашину, или кто ещё там что думает насчёт жизни, смерти, происхождения человека и всего такого; мысли взрываются ракетами в голове и сменяют друг друга непоследовательно и хаотично.

Говорят они о какой-то ерунде, да и то, шибко сильное слово — говорят, ведь он в основном слушает, а Семён рассказывает про безымянную деревеньку, про одинокую бабу, которая сдала их противнику (батя чуть-чуть не успел отобрать

у той телефон — это гуманнее, чем всё остальное, не правда ли?), про мёртвого удава во дворе богатого и не разграбленного дома; ничего такого, что было бы про человеческие трупы, или смерть, или убийства: получается у Семёна вещать на удивление складно, без жести, как говорится, но он слушает его мало, с трудом отлепляя друг от друга слова. Прочие же слушают не то со сдержанным любопытством, не то с ангельским терпением: в их палате мало разговаривали до появления Семёна. Может, и выдохнуть люди хотят на законном отпуске — ну, как отпуске — реабилитации, подаренной щедро государством. Вряд ли только можно реабилитироваться от некоторых ранений: нога сама по себе не вернётся, как у ящерицы — хвост, а потом знай ходи ежегодно на комиссии и доказывай, что конечность заново у тебя не выросла, что ты до сих пор инвалид и имеешь право на выплаты. Такое уже было с отцом, такое теперь ждало и его; мама не плакала при нём, но потом, вечером-ночью, заперевшись в ванной и надеясь, что он уже спит, разрыдалась, как девочка. Надо было встать, подойти к ней, как-то утешить, наверное, но что тут скажешь? Он малодушно закрыл тогда глаза, отрезая себя от всего мира вокруг, как бы спрятавшись; и думал, что Иисус, наверное, не знал страха.

Дали обед, стандартно больничный; а к вечеру приехала певица — настоящая, красивая и кудрявая. Кто-то сказал, что она поёт в опере, но он не знал, как это проверить, и вечером все они, собравшиеся в холле, слушали. Он случайно увидел, как она курит на улице, выйдя за пределы больницы (тут не разрешали, но на самом деле запрет все регулярно нарушали), и плачет; но подходить не стал: имеет человек всё-таки право на слёзы в одиночестве.

— Красиво, — говорит вечером-ночью Семён.

— Красиво, — соглашается Алексей.

Сон не приходит долго.

Утром дали кашу, с комочками, на молоке. В школе тоже такую давали; и в детском саду, наверное, тоже, но он там никогда не был: мама не работала и решила, что называется, посвятить себя семье и единственному сыну — поэтому, когда отец ушёл, ей пришлось туго, ведь в последний раз она работала ещё в Советском Союзе. Государство давно растерзали голодные шакалы в надежде хоть как-то отсрочить своё собственное падение; государство давно зачахло, уничтоженное

не снаружи, не ядерной бомбой и жуткой войной, а внутри, руками граждан и без единого выстрела; государство давно стало призраком, глядящим то из толстого стеклянного квадратного блока, то из приземистого серого дома, то из старой платформы, по сути просто куску бетона, то из ракеты, то из железной дороги; государство давно умерло и продолжало жить в маминой трудовой книжке, в её дипломе, в её жизненном опыте.

— Знаешь, — вдруг тихо произносит Семён, хотя никто его не просил. — В прошлом моём госпитале к нам привезли пацана, очень похожего на тебя. Того же возраста — тебе, наверное, двадцать два или около того?

Он только кивает, ничего не говоря.

— В общем, он был в неадеквате, как укурый какой или нарк. Говорили, не то сам накололся, не то его накололи, но второе, как оказалось, было правдой. Его вывезли из плена недавно, обменяли опять на азовцев вместе с другими, где бы он там наркоту взял сам? У него органы вырезали, пока он в плену был. Не все, конечно — иначе бы не очнулся, но всё-таки...

— Укронаци, — не говорит, а как выплёвывает кто-то.

— Психопаты, садисты, убийцы, шизоиды, маньяки, уберменши, ницшеанцы, насильники, ксенофобы и так далее — в общем, обычные украинцы, — со смешком поддакивает второй.

— Они всё ещё люди, — тоже тихо, но твёрдо проговаривает Алексей. — Мы за людей сражаемся, а не против.

— За людей и против мразей.

— За людей и за то, чтобы самим нацифицироваться, — упрямится он. — А то, что ты не признаёшь их людьми, что бы они ни делали, — это уже та же самая нацификация. Ты ради этого руки лишился? Они больны и нездоровы, заражают всех вокруг себя, но всё ещё люди и их можно вылечить: этим мы и занимаемся, так старший приказал. А ты им поддаёшься. Так чем отличаешься тогда?

Разговор как-то сам собой затухает, но дышать в палате становится резко сложнее, как когда приходишь в какое-то незнакомое или неприятное место, где раньше уже бывал неоднократно (а может, и оказался впервые, но тому предшествовали долгие размышления того, где вот-вот осознаешь себя),

но которое оставило на тебе удушливо гадкие следы, и теперь вид, и запах, и воздух — всё напоминает о пережитом. Для него таким был узкий коридор, по которому из каких-то таинственных недр непримечательной бетонной коробки выносили мертвецов сразу в машину: ковид же бушует, смертельно опасный вирус, нельзя собираться даже на похороны, максимум пятеро, никаких вам прощальных залов, но их с мамой было двое — пятерых не набиралось никак; розы и формалин душили его, слезили глаза, и они с мамой, совсем одинокие, стояли над неказистым, тонко обитым изнутри красным гробом бабушки. Её лицо, мертво-восковое и одутловатое, отпечаталось в памяти; и руки, сложенные на груди, и белый платок на седых волосах, и снова — лицо, вернее, его выражение. Такое бывает только у тех, кто уже не понимает мира вокруг. Счастье. Так счастлив и одухотворённо радостен может быть лишь мертвец; мёртвым вообще легко быть — попробуй быть живым. А уж если живым и счастливым одновременно...

Семён больше не заводил разговоров о прошлом, а напряжение постепенно растворилось, как сахар в горячем и вихристо размешанном чае.

Дни текут своим чередом — ничего необычного не происходит, и кажется, что реабилитационный центр застрял во временной петле; но рутина — это хорошо, очень. Когда точно знаешь, каким будет завтрашний день, не надо за него переживать, не надо бояться; можно просто расслабиться и позволить воде самой вытолкнуть твоё тело на поверхность, подставляя солнечным лучам — и он отпустил все сторонние мысли, по крайней мере, честно постарался, но помогло это мало. Кто-то до сих пор бомбил его мозг, и кошмары неизменно возвращались, особенно когда сизый вечер перекатывался в монотонное ночное полотно, похожее на растянутый строительный забор, прикрытый чёрным пластиком, как пакетом; он беззвучно выл по ночам в подушку, стараясь не шевелиться, чтобы неловким скрипом в крошечной тишине не разбудить соседей по комнате, таких же изувеченных, и тяжело дышал, словно полз по пустыне безводные километры и, наконец, увидел перед собой оазис. Но оазис этот неизменно оказывался обманкой, миражем, призванным лишь поиздеваться над страждущим; и, едва касаясь вожделенной трескучей воды, он сознавал, что роется в палящем песке, обжигающем, как

угли. Всё та же постная еда, всё то же необъятное серое море, всё медленнее и медленнее наползающее на острую ледяную гальку; и всё та же странная, удушливая затхлость, от которой он силился убежать каждый день. Иной раз Семён пытался присоединиться к прогулке, но Алексей ясно дал понять: хочет быть один, и тот перестал навязывать общество. Может, это было грубо; может, это было глупо: он прекрасно знал, что не способен оставаться, как и любой человек, в одиночестве, но всё равно стремился замкнуться в себе, забиться глубоко-глубоко, как пугливое животное, и перестать даже дышать. Не вклинивался в разговоры, не отвечал на вопросы толком — разве что бурчал что-то малопонятное, односложное, такое, какое не даст уцепиться и развить тему; решил стать не то камнем, не то предметом интерьера, не то пустышкой — сложно сказать, чего он хотел на самом деле, когда изолировался и почти всё время проводил наедине с морем. В такие моменты в памяти вставала, как живая, Аня; совершенно обычная, кареглазая и темноволосая, но не знойно и выжигающе чёрная, а обычная, каштановая. Ему даже виделась иной раз её удаляющаяся фигура, но он точно знал, что Анну Марковну похоронили в открытом гробу, как он слышал: мама-медик попросила таких же друзей-медиков восстановить лицо дочери, и те идеально справились, но сам он не был на похоронах — сидел техником подле арты на передовой и узнавал обо всём от гражданских друзей через телегу, когда, конечно, личное средство связи можно было включать, чтобы не пропалить позиции. Он и о том, что новоайдарский госпиталь хаймарснули, узнал последним.

Лёгкая, точно тень; едва уловимое видение, знакомый запах — где-то на периферии зрения маячила Аня, но как ни всматривайся, как ни зови, как ни хватай — под пальцами ощутишь только бесплотный воздух. Наверное, надо было кому-то сказать, но кому? Матери? Ещё сильнее её запугать, и без того отчаявшуюся? Товарищам с передовой? Загрузить их безмерно своими проблемами, стандартно-типичными и не вызывающими ровно никакого сочувствия, когда сам прошёл через ад? Друзьям? Дать им коснуться кошмара наяву, от которого так хочется отстраниться, закрыв глаза и сделав вид, как будто там, на границе Белгородской области, ничего такого не творится, да и оно вовсе скоро кончится, да и вообще,



рашка-парашка, напала на невинную Украину? Психиатру? Чтобы упёк в застенки, откуда хода наружу нет, а потом превратили в овощ такие же добрые люди?

Решение пришло в одно утро, будто бы само: он открыл заметки на телефоне и напечатал несколько слов. Неловко стёр, снова принялся выводить, и на жёлтом фоне, от которого рябило в глазах, постепенно возникал частокол букв. Глупые, странные слова; когда он перечитывал, они звучали в его голове, как дурной графоманский бред — иной раз Аня зачитывала ему некие таинственные сетевые шедевры, хихикала, а потом как-то стыдливо показывала ему свои работы, тягуче-напевные, заворачивающие в слои текста, как в одеяло.

Кто-то ведь должен написать, а?

Пожухлая листва, не сваленная в столь любимые детьми кучи, самовольно вихрилась у корней деревьев, ползала гигантским пауком по желтеющей траве, и через приоткрытое окно, впускающее тонкие струи прохладного ветерка, доносились шелест и шорох...